

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В САТИРЕ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

(*«Господа Головлевы», «В среде умеренности и аккуратности»,
«Больное место»*)

С. ДЛУГОВСКАЯ

Своеобразный способ типизации, открытый Щедриным,— психологический анализ в сатире,— обычно рассматривается с точки зрения его близости к гротеску. Обоснование этого аспекта проблемы даст С. Г. Бочаров. Он устанавливает «единый художественный принцип», роднящий Головлевых, «индивидуализированных как живые личности» и изображенных «изнутри», с такими «кукольными созданиями», как глуповские градоначальники. По определению С. Г. Бочарова, источником комического эффекта в том и другом случае является несоответствие между автоматизмом социальных стимулов,— стяжательства, лицемерия, властности, и— «живым (условной или подлинной индивидуализацией персонажа)¹.

В настоящей статье делается попытка рассмотреть другую сторону проблемы: какие новые, неизвестные дотоле, неподвластные гротеску комические стороны жизни отражает диалектика души в произведениях Щедрина? Какова специфика сатирически направленного психологического анализа,— явления не только родственного традиционной сатире, использующей «внешние» средства изобразительности, но и противостоящего ей по самому своему существу?

Попытаться найти грань между «кукольностью» и «диалектикой души», как двумя формами комедийного начала,— это значит рассмотреть соотношение *эстетики и морали* в искусстве Щедрина. Подобная постановка вопроса подготовлена С. Г. Бочаровым. Отмечено расширение масштабов «среды», определяющей характер в романе «Господа Головлевы»², что заставляет по-новому взглянуть и на содержание моралистических критериев писателя.

I.

Всесторонне исследуя в 70-х годах процесс капитализации России, Щедрин отметил противоречие между широким историческим опытом, объективно доступным в это время человеку, и предельным отчуждением личности. «Универсальное развитие» производительных сил,— по словам Маркса,— уже дает «эмпирическое осуществление всемирно-

¹ С. Бочаров, Психологический анализ в сатире, в книге Я. Эльсберга, Вопросы теории сатиры, «Советский писатель», М., 1957, стр. 260.

² С. Бочаров, Психологическое раскрытие характера в русской классической литературе и творчество Горького, «Социалистический реализм и классическое наследие», Гослитиздат, М., 1960, стр. 103.

исторического, а не узко-местного бытия людей»³. Но, став универсальными, общественные связи более скрыты, чем прежде: логика целого не совпадает с логикой частного, на поверхности явлений всеобщая изоляция индивидов. Щедрин не мог объяснить во всей полноте причин подобного состояния личности, — он с гениальной проницательностью художника-мыслителя отразил *психологический результат* тех широких социально-экономических процессов, которые исследовал Маркс.

Проблемно-публицистическое обобщение дается на страницах «Отголосков» («В среде умеренности и аккуратности»). Центральные персонажи этого очеркового цикла, интеллигенты Рассказчик и Глумов, видят крайнюю «запутанность» (VII, 452)⁴ положения индивида в современном им обществе. Вопрос ставится так: почему бесчинствуют хищники (адвокат Балалайкин, купец Дрыгалов), если рядом с ними живут честные люди? «— Вот и скажет историк: на основании таких-то и таких-то данных я имею полное право заключить, что сия эпоха была эпохой распутства — *всеобщего!*»⁵. Все, значит, без исключения. . . Что ж! коли хочешь, оно ведь правильно!

— Почему правильно?

— А потому: не хлопай глазами! Одно из двух: или ты человек, или вол подъяремный. Ежели ты человек, и за всем тем, у тебя под носом Балалайкины историю народа российский созидают, — стало быть, ты сам потатчик и попуститель; ежели ты — только вол подъяремный, стало быть, нечего об тебе и говорить. Мало ли на земном шаре земноводных обитает? мычат, блеют, мяукают, каркают, свищут, квакают — разве история обязывается принимать их в расчет?» (VII, 451).

Диапазон общественной природы человека необычайно расширился: и действием своим, и бездействием человек включен во всеобщие отношения эпохи. Углубляя свою мысль, собеседники вносят существенный корректив: частный индивид ничего об этих отношениях не знает, не видит их подлинной сути — всеобщности. Замкнутый в кругу насущных интересов жизнестроительства, он «мечется под игом мысли, что его . . . немедленно жрать будут. Этот субъект не мычит, а песни о своих болях слагает; не потворствует и не потакает, а просто *не знает*» (VII, 452).

Общественные связи сложны, опосредованы, широки, а горизонт и опыт «отдельной единицы» (VII, 426) крайне узок: воспринимаются лишь случайные, разрозненные факты, лежащие на поверхности жизни. Из газет Рассказчик узнает о сражениях под Плевной и Ловчей, к нему приходит Балалайкин с предложением войти в «дело» (снабжение русской армии на Балканах гнилой килькой); Глумов рассказывает о своей поездке в провинцию, где он наблюдал проводы рекрутов (вопл одной из крестьянок, провожавшей мужа-солдата, будет, по его словам, всю жизнь звучать у него в ушах); чиновница Поликсена Ивановна несет три целковых в комитет помощи «страждущим братьям». За всеми этими фактами смутно угадывается широкая историческая драма, но ее движущие пружины остаются неясными. Сама ее масштабность, «бесконечность» ставит предел непосредственному постижению сущности. «Какую связь мы имеем с этой беспримерной трагедией, которая длится, длится без конца? — спрашивает Рассказчик. — Откуда вдруг налетел шквал? Каким образом составилсcя сценарий

³ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Госполитиздат, М., 1955, т. III, стр. 33.

⁴ Цитаты из произведений Щедрина приводятся по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Собрание сочинений в 12 томах, «Правда», М., 1951. В скобках указаны том и страница.

⁵ Здесь и в дальнейшем выделено автором.

трагедии? Что его питает и долго ли будет питать? Разве мы что-нибудь знаем?» (VII, 430).

Лишенный «общего впечатления», «связности» (VIII, 467) в своем представлении о мире, человек воспринимает панораму жизни как все-светную «путаницу», гигантский «хаос» (это свойственно, главным образом, интеллигентам) или «кружится в пустоте» (удел «простецов» — Молчалина, Разумова, Поликсены Ивановны).

Частный опыт индивида противостоит общему не только потому, что он крайне узок, а мировая трагедия «длится, длится без конца», но и потому, что это — обыденный, прозаический опыт: форма действительности в условиях «мирного капитализма»⁶ (так В. И. Ленин определил эпоху между 1871 и 1914 годами) проста и безобидна.

Герои Щедрина догадываются о подлинном смысле общего по тем «отголоскам» широкой исторической драмы, которые доносятся до их петербургских квартир. Сидя за утренним чаем, Рассказчик читает только что принесенную газету: «Ужас, что там было: мужчинам режут носы, живых сжигают, сажают на кол, женщин насилуют и стадами продают в гаремы, детей бросают вверх и принимают на штыки... это в газетах так, а какова должна быть действительность! Каково тут быть, видеть! Представьте только себе: летит с высоты ребенок и падает на подставленные штыки» (VII, 383). Рассказчик переживает мучительный «кошмар», переживает так, как если бы все это происходило с ним самим: «— Я видел этого ребенка, я чувствовал себя отцом его» (VII, 383). Он изливает свою боль Глумову, «задыхаясь» от волнения: «...ведь это, наконец, ужас! целый ад там... сатана там... понимаешь ли, сатана!» (VII, 384). Но «к каким практическим результатам мог привести» этот конкретный, отдаленно взятый порыв («мой порыв»)? — задумывается Рассказчик. «— Быть может, у меня заболела бы голова, я был бы вынужден лечь в постель, и затем все прошло бы сном. Быть может, в том же роде исход представила бы мне какая-нибудь другая, чисто внешняя случайность: пришел бы портной примерить платье или «бедная кузина» вытурила бы из квартиры хлопотать об месте для ее мужа...» (VII, 384). И действительно, пока Глумов снимал в передней пальто и проходил в кабинет, «кошмар», еще секунду назад терзавший Рассказчика, начал таять.

Обыденное окружение жизни — это та «завеса» (VII, 408), которая скрывает ее варварскую сущность. Где-то далеко, на Балканах, «занавес остается бессменно поднятым, со сцены ни на минуту не сходит «единственное действующее лицо» — смерть. «Массовый» человек «этих картин» не видит (VII, 426). Сидя «в Развезжей за семью замками, и видеть-то... ничего нельзя» (VII, 402). «А потому даже лучшие из нас, — говорит Глумов, — представляют себе народ в виде громадного и упругого кокона, от которого отскакивают всякие бедствия или, по крайней мере, не так мучительно вонзаются» (VII, 426).

Противоречие между природой человека и формой его существования достигло предельной остроты, — таково в понимании Щедрина социально-психологическое содержание эпохи. «С каждым днем все больше и больше погружаясь в пучину отчужденности, мы мало-помалу доходим до положения эмигрантов, у которых нет ничего, кроме местожительства да ревнивого полицейского надзора, — заключает Рассказчик. — Нет у нас... ничего, побуждающего к деятельности, напоминающего о кровном, своем деле... есть только интересы мелких удобств, да и те не от нас зависят, а от разных учреждений и лиц, с которыми мы ничем внутренне не связаны. Ничего нет, кроме массы праздного

⁶ В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 91.

времени. А жить, между тем, надобно. Ужели только для «сродственников и знакомых», как объяснял давеча купец Дрыгалов?» (VII, 432).

Поиски мировосприятия, позволяющего понять широкую жизнь, достигнуть гармонического единства с ней,— потребность времени, отразившаяся во всех наиболее значительных произведениях русской литературы второй половины XIX века. Герой Достоевского ищет связного, общего представления о мире,— представления, которое объяснило бы одновременно и каждую пролитую в прошлом «детскую слезинку» и будущую «гармонию»; генерала, затравившего псами ребенка на глазах у матери, и «клеякие листочки, голубое небо»,— объяснение должно обязательно охватить все это вместе,— только так понимает Иван Карамазов «коренное» нравственное решение. Пьер Безухов воспринимает потребность в целостном постижении мира как величайшее открытие своей жизни: «Самое трудное... состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить?.. — Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а *сопрягать* все эти мысли — вот что нужно!»⁷. О необходимости «общей идеи» говорит и чеховский профессор («Скучная история»).

Писатели по-разному понимают сущность и пути целостного познания и освоения жизни. Достоевский и Толстой верят, что человек может обрести гармоническое сознание «личным способом» — вне зависимости от существующих социальных обстоятельств. Салтыков обобщает потребность в синтезе лично-нравственной и социальной сфер. Для того, чтобы вполне осуществить свое «Я», стать *нравственной личностью*, человек должен в полной мере проявить свою *общественную природу*, осознанно и действенно включаться в исторически обусловленные универсальные связи и закономерности.

Салтыкову-Щедрину близок Чехов. Оба писателя рассматривают противоречие между широким, трагическим смыслом жизни и обыденной пошлостью ее непосредственного окружения, между логикой целого и логикой частного, распространенного, как объективную закономерность эпохи. Тем самым они вплотную подходят к проблеме *научного мышления*, необходимого индивиду. Щедрин имеет в виду познание социально-политической жизни, ее движущих сил и перспектив («Откуда вдруг налетел шквал? Каким образом составилась сценарий трагедии? Что его питает и долго ли будет питать?»); «руководящая идея», в его понимании,— это цельное мировоззрение, объясняющее все стороны общественного бытия в их единстве и взаимообусловленности, помогающее разобраться в «путанице» исторических событий и социальных отношений. Пафос Чехова — в раскрытии многогранности и гармоничности жизни, от которой отчужден частный индивид («Вся Россия — наш сад!», «Человеку нужен весь земной шар»). Автор «Скучной истории» связывает целостное интеллектуальное познание мира с успехами цивилизации, естественно-научного материализма, с техническим прогрессом⁸.

В рамках критического реализма щедринская концепция личности наименее утопична. Тем труднее было ее положительное художественное осуществление. Щедрин не дал своего варианта героя-деятеля, который по степени художественной завершенности встал бы рядом с Базаровым, Рахметовым, Гришей Добросклоновым. Он лишь в самой общей форме определил *направление* обратной связи характера и об-

⁷ Л. Толстой, Собрание сочинений в 12 томах, Гослитиздат, М., 1958, т. VI, стр. 304—305.

⁸ Подчеркнуто Г. Н. Поспеловым в статье «Об идейных и художественных особенностях творчества А. П. Чехова», «Вопросы литературы», 1957, № 6.

стоятельств. Следующей, качественно новой ступенью в поступательном ходе литературы должно было стать изображение человека, познающего широкую жизнь в ее конкретном общественно-политическом содержании и — одновременно — выходящего ко всей полноте и гармонии жизненных проявлений. Эту задачу выполнил М. Горький⁹.

2.

Развитие психологического анализа в сатире Щедрина 70-х годов связано с возросшим интересом писателя к лично-нравственной сфере. Центр тяжести переносится с непосредственного раскрытия *ситуации* (человеческого самоотчуждения, «автоматики» социальных стимулов) на отражение этой ситуации в *индивидуальном сознании* людей.

Гротеск помогал Щедрину передать такие черты правителей-деспотов, как ненавистническая страсть, злобная энергия; Угрюм-Бурчеев — это воплощение тупой, прямолинейной разрушительной силы: «голая решимость — и ничего более» (IV, 388). Иначе изображены господа Головлевы: подчеркивается их «непреоборимое» *благодушие* (VII, 153).

По словам Маркса, в ситуации отчуждения «частный собственник представляет собой консервативную сторону», ибо он «чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетельство своего собственного могущества и обладает в нем видимостью человеческого существования»¹⁰. Именно эту тенденцию, характерную для самосознания верхов, Щедрин и акцентировал в Головлевых, особенно в Иудушке. Сатирик предупреждал: угнетатель опасен не только тогда, когда атакует, — он представляет смертельную угрозу для окружающих, для «страдательной среды», уже одним тем, что стремится к «равновесию» в существующем положении, к сохранению «пучины отчужденности».

Иудушке нужна «полная свобода от каких-либо нравственных ограничений...» (VII, 99). Его лганье тем и отличается от лицемерия Тартюфа, что предполагает отсутствие «всякого нравственного мерила» (VII, 97). Современные Тартюфы действуют во имя определенного «знамени», — указывает Щедрин, — «есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности...» (VII, 97). У Иудушки нет никакого «знамени». Ему известны лишь те истины, которые значатся в «азбучных прописях», — с их помощью он поддерживает в себе иллюзию своей полной непричастности к тому, что совершается вокруг. Религиозные правоучения, обряды, церковные службы занимают очень много места в его времяпрепровождении, но это не «зная», а способ отгородиться от общего: «это была совершенно особенная частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы» (VII, 121).

Иудушка «жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да богу помолясь», но «именно из этого-то» и выходило «более или менее тяжелое увечье» (VII, 249). Он ограбил и толкнул в могилу брата Степана, когда представился случай: маменька спрашивала совета, он подсказал ей бесчеловечное, грабительское решение, но обставил все дело так,

⁹ В статье «Традиции Щедрина в творчестве Горького» Я. Е. Эльсберг указал на мотив «ответственной мысли», роднящий Салтыкова с основоположником социального реализма («Горьковские чтения», АН СССР, М.—Л., 1949).

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, Госполитиздат, 1955, т. II, стр. 39.

что приговор произнесла сама Арина Петровна. Он ускорил гибель Павла, терзая его разглагольствованиями, подсылал к нему шпионов и, наконец, завладел Дубровиным, но и «это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то, чтобы решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею» (VII, 175). Он оставил без помощи своего старшего сына Петеньку, проигравшего казенные деньги: пройдя через позор суда, тот умер по дороге в ссылку. Но прямой враждебности к Петеньке он не испытывал: их «отношения . . . нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало» (VII, 112). Иудушка занял позицию человека, которому нет дела до случившегося: «Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умеи ее и расхлебывать» (VII, 115). Петенька «чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, породало ежель не страх, то во всяком случае беспокойство. . . лучше, казалось, совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца» (VII, 120).

Отправляя в воспитательный дом своего незаконнорожденного сына Володьку, Иудушка постарался «забыть и убить» всякое представление о «нравственных обязательствах» (VII, 178). «Нельзя сказать, чтоб он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая, излюбленная формула: «ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрешаю!» (VII, 182). «Кровопивец» не только утверждает в непричастности к факту «прелюбодейства», но и определение Володькиной участи предоставляет сформулировать другим. Слова Улиты сказанные «в упор»: «— Мне, что ли, в воспитательный-то везти?» — утонули в «бездне» праздных иудушкиных слов: «— Ах-ах! . . . Уж ты и решила . . . таранта егоровна! Ах, Улитка, Улитка! все-то у тебя на уме прыг да шмыг! все бы тебе поболтать да погрозить! А почему ты знаешь: может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так. . . другое что-нибудь для Володьки придумал?» (VII, 191).

Иудушка страшен тем, что его нельзя «пронять», нельзя вызвать на открытое, прямое объяснение, с ним невозможно добиться духовного контакта. Улита чувствовала, что «бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен, совершенно нельзя» (VII, 182).

«Не злость, а нравственное окостенение», т. е. полная глухота, неподатливость к каким бы то ни было лично-нравственным притязаниям, — вот что составляет психологическую сущность Головлевины. Арина Петровна обрекла «постылого» сына, Степку-балбеса, на гибель, но «оградившись от нареканий добрых людей» решением «семейного суда», успокаивается в «мирном существовании» (VII, 19). «С ее стороны не было даже систематического образа действий, а было простое забвение. Она совсем потеряла из вида, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни» (VII, 47). Степан предчувствовал, что мать «заест его, но заест не мучительством, а забвением» (VII, 27), что в Головлеве ему предстоит иметь дело со старухой «даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности», т. е. не привыкшей встречать со стороны окружающих ни малейшего «нравственного ограничения» или «противодействия» (VII, 6).

Стремление утвердиться в «отчужденности» — это самое общее, что объединяет всех Головлевых, оно свойственно и жертвам «родственных злодейств». Павел с детства «любил жить особняком» (VII, 14), был

угрюм, но «за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего более» (VII, 15). «Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил; ... он был честен, но не слышали, чтобы кто-нибудь сказал: как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев» (VII, 15). Постоянный «нелепый ропот» Павла, недовольство всем и вся (он даже собственностью отягощался: «— И зачем только это Дубровино мне досталось!») — это усилия оправдать свое бездействие. Степку-балбеса, наоборот, легко было вызвать на любой шаг, но и он ничего в жизни не совершил по «собственному внушению»; «не мог ни минуты оставаться наедине с собой», льнул к другим, жил чужой жизнью, как своей: «такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами, и даже преступниками» (VII, 10). Поведением Анниньки-актрисы движет благодушное отношение к «ремеслу». Она «обнажалась в «Прекрасной Елене», являлась пьяною в «Периколе», пела всевозможные бесстыдства в «Отрывках из герцогини Герольштейнской», но «ни тела своего, ни души... не сознавала публичными». Аннинька «об том только старалась, чтоб все у ней выходило «мило» и с «шиком» и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое и какого сорта ощущения производят в офицерах ее вздрагивания — она об этом себя не спрашивала» (VII, 151). Самый безнравственный поступок Степана Головлева или Анниньки не дает оснований судить о степени их внутренней испорченности, так же, как доброта и честность Павла не могут быть его определениями: сущность этих людей в безответственности. «Хозяйские» инстинкты не развились в них до такой степени, как в Арине Петровне и Иудушке, но «формула жизни» у них та же, что и у головлевских деспотов.

Молчалинство, — психология «массового» человека, представляет собой иной вариант «идиллии» отчуждения. Молчалин и Рассказчик принадлежат к той социальной группе, которую В. И. Ленин назвал «средним слоем»¹¹. В их настроениях есть черты, родственные «людям полной и абсолютной безвестности» (низам), и есть тенденции, сближающие их с привилегированными сословиями. Как объект деспотизма, а не только его орудие, «средний» человек неминуемо должен попасть в центр социальных противоречий и попытаться выйти к широкой жизни. Вместе с тем, отчуждаясь, он до поры, до времени обладает видимостью человеческого существования. Это поддерживает его в стремлении сохранить положение частного индивида неизменным.

Втянутый в гигантскую систему угнетения — государственный аппарат эксплуататорского строя, Молчалин деятельно участвует в созидании «сумерек» жизни (VII, 259). А между тем у себя дома, «на Песках», он — «несомненно добрый человек» (VII, 524), чутко воспринимает чужую боль и бывает даже самоотвержен (забота о «неблагонамеренном» литераторе, Рассказчике). Герой повести «Больное место», чиновник полицейского ведомства Разумов, славился «сердечностью» в кругу своих знакомых (VIII, 470).

Как же совмещается личная добропорядочность Молчалиных с теми бесчеловечными делами, которые они каждодневно совершают? Щедрин обнаружил, что по отношению к результатам своей деятельности, входящим в широкую жизнь, они попросту не применяют нравственных оценок. Ведь это — «не инициаторы, а только исполнители, не знающие собственных внушений» (VII, 263). К тому же их слишком много: «какой суд в целом мире найдет хотя единую вину за

¹¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 3, стр. 427.

человеком, имя которому: «и другие» (VII, 259). Рассказчик повествует: «Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обогранными бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руками разрезать пирог с капустой.

— Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе. — Вспомните: ведь у вас руки...

— Я вымыл-с, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезать пирог» (VII, 262).

Молчалин не опровергает самого факта преступления. Он даже не задается вопросом: преступление или доброе дело он совершил, а просто «умывает руки», отстраняет от себя возможность нравственного укора, обращенного лично к нему.

Служба представляла для Разумова интерес «независимо от своего содержания» (VII, 459). Однажды несколько дней сряду ходила к нему на дом старуха-просительница: готовилось «воздаяние» ее сыну. Разумов никогда не принимал просителей у себя на дому, но старуха «добилась-таки своего, и в одно утро, когда Гаврило Степаныч выходил из дома на службу, она встретив его на крыльце, крикнула ему вдогонку: Сатана! сатана! сатана! Это ужасно, до крови его оскорбило...» (VIII, 470). Придя в департамент, Разумов сейчас же потребовал «дело» и «убедился, что это не он, а генерал-майор Отчаянный. Он же только выполнил «по сущей совести» (VIII, 471). Разумов «успокоился» не на сознании своей правоты (это было бы «неразумием», моральной слепотой), а на сознании своей безответственности. «Он был очень доволен, что мог в свое оправдание сказать: это генерал-майор Отчаянный, а не я! Хотя, в сущности, в Отчаянном гнездилась только инициатива, а он, Разумов, обставил эту инициативу «законными основаниями» (VIII, 471).

Своеобразие позиции молчалина, как «человека толпы» (VII, 265), в том, что ему не нужна «сложная» аргументация: он «даже не отвергает» принцип ответственности, а «просто-напросто ни о чем постороннем не думает». Ему достаточно сознания того, что он «выполняет свои обязанности по сущей совести» (VIII, 470). Молчалин поступает «вполне искренне»: не думает, «потому что незачем думать», «так быть должно» (VIII, 470).

В отличие от «простеца», интеллигент не может отговориться «сущей правдой». Он прекрасно понимает, что на его глазах творится не что иное, как зло. Но он откладывает «коренные решения» ввиду крайней реакционности эпохи («погодить надо»). Для оправдания «гоженья» он разрабатывает «теории приличного прозябания» (VII, 433). Если Молчалин утверждает в роли «исполнителя», то Рассказчик и Глумов — в роли непричастных к злу наблюдателей и комментаторов. Выражая сочувствие угнетенным, негодуя по поводу бесчеловечности угнетателей, они пытаются имитировать нравственное существование в «пучине отчужденности». «Я живой человек, я хочу, я чувствую потребность шуметь, и кричать! — заявляет Рассказчик. — И ежели у меня нет личного дела, по случаю которого я мог бы свободно поведать миру о своей живучести, то я хватаюсь за дело чужое, чтоб хоть на время, хотя в своих собственных глазах, восстановить свое право на жизненную отзывчивость» (VII, 397).

Вместе с тем интеллигенты чувствуют, что комментаторство с позиции частного индивида (по принципу: «чужую беду — руками разведу», VII, 514), — не имеет решающего значения: в этом случае «ни критики, ни панегирики, — ничто не идет в счет» (VII, 431). Реальный смысл их существования исчерпывается «опрятностью чувств» и «стыдом

в четырех стенах». Но даже и это — не более, как их «личное, ни до кого не относящееся качество». «Я стыжусь — хорошо! — иронизирует Глумов. — Но если бы я не стыдился, от этого я был бы только цветнее и крупчатее» (VII, 387).

Рассматривая степень лично-нравственной активности по отношению к общей жизни как главную характеристику персонажа, Щедрин исходил из своего понимания действительности: в условиях интенсивного обуржуазивания России, когда отчуждение личности достигает предела, безответственность становится знаменем времени. Молчалины были и раньше (они «переползают из одного периода истории в другой», VII, 259), но только в 70-х годах Щедрин изобразил «нерассуждение» как «великий принцип» современной ему жизни, как «ее палладиум» (VII, 314).

3.

Акцентируя лично-нравственное начало, Щедрин получил возможность раскрыть глубочайший кризис в отношениях между человеком и миром.

«Кукольное естество» градоначальников — это отрицание психологических конфликтов и противоречий: ситуация отчуждения взята в *статическом*, а потому — в конкретно-чувственном, овеществленном виде. В 70-х годах перед сатириком встала задача иного рода: передать разлад между процессом эмпирического обобществления человека и превращением его в частного индивида, т. е. передать *движение* жизни. Внутренний мир Головлевых и Молчалиных крайне противоречив, неустойчив, зыбок: он отражает объективную «запутанность» их положения.

Осознанное, «личностное» включение в общественные связи постоянно присутствует в частном индивиде как его неосуществленная природа, как *потенция*. Маркс писал: «собственное осуществление» выступает в каждом отчужденном человеке «как внутренняя необходимость»¹².

Утверждаясь в благодушии, герои Щедрина отталкиваются от потенциального требования ответственности: оно представляет собой тот противоположный полюс сознания, без которого сама «идиллия» отчужденности, в ее щедринском смысле, перестала бы существовать, превратившись в тупую бездумность. Это не значит, что Головлевым и Молчалиным знакома, хотя бы отчасти, «деятельная чуткость» совести (VII, 248). «Утолять душу» безответственностью они способны без каких бы то ни было оглядок и сомнений, — в то же время чувство тревоги никогда не оставляет их.

«Моделью» подобной диалектики души может служить психологический этюд, открывающий главу «Расчет» («Господа Головлевы»). Иудушка смотрит на заснеженные, безлюдные поля и благодушествует, упинаясь сознанием того, что в этом широком, наблюдаемом им из окна мире, ничто не может иметь к нему никакого касательства, не может потребовать от него «личного вмешательства в обстановку жизни» (VII, 207). Его внимание привлекает черная точка, мелькающая среди сугробов. Порфирий Владимирович пустомыслит: «Кто едет? мужик или другой кто? Другому, впрочем, некому, — стало быть, мужик. . . да, мужик и есть! Зачем едет? ежели за дровами, так ведь нагловский

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, Госполитиздат, М., 1956, стр. 596.

лес по ту сторону деревни... наверное, шельма, в барский лес воровать собрался! Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо... Может быть, за попом? Кто-нибудь умирает, или уж и умер? ...а может быть, и родился кто?..» Шедрин подробно, крупным планом, выписывает все детали пустомысленных соображений Иудушки, не находя ни малейшего намека на тревогу. Вот «черная точка» повернула на гать, ведущую к церкви, и Иудушка «совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой, гусем», но ему по-прежнему не приходит в голову вопрос: а не имеет ли этот факт отношения к нему? Вот кибитка уже в непосредственной близости от усадьбы — «поднялась на взлобок и поравнялась с церковью», — Иудушка по-прежнему благодушен: «не благочинный ли? — мелькнуло у него. — То-то у попа не отстрепались о сую пору?». Наконец, кибитка «повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. «Так и есть, сюда!» Порфирий Владимирыч инстинктивно запахнул халат и отпрянуэ от окна, словно боясь, чтоб приезжий не заметил его» (VII, 222). Благодушие сменилось тревогой, но форма внутренней реплики, которую при этом произносит Иудушка, свидетельствует о том, что ожидание этой тревоги было и раньше. Тревога все время присутствовала потенциально.

Шедрин исследует *диалектику пассивного сознания*. Этим он отличается от Достоевского и Толстого, мастерство которых более всего сказалось в раскрытии активной, динамичной психики, нравственной борьбы, конфликтов и кризисов, устремленных к радикальным личностным решениям (хотя бы решением был принцип: «все дозволено»).

Внутренняя жизнь героев Шедрина хужда субъективной динамики: «вялость и хворость — вот и все. Острых болей нет, а постоянно как бы разнемогаешься» (VII, 514). Рассказчик следующим образом характеризует механизм привычного для него «раздвоения»: в тот самый момент, «...когда увлеченное воображение начинает живописать целый ряд свойственных «совсем скотине» наслаждений, вдруг изнутри словно толкнет что: да разве это бог весть какое счастье — быть «совсем скотиною»? И вслед за тем опять раздумье, опять обрывки, которые мало-помалу, разрастаясь и разрастаясь, переходят, наконец, в негодование. А негодование само по себе целый клад. Оно поднимает нравственный уровень человека; оно утешает, очищает его в собственных глазах. Я чувствую себя просветленным: я негодую на самого себя, что мог хотя минуту увлечься мечтами о счастье быть «совсем скотиною»; я берегу и лелею святое волнение, охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь — чем? тем, что негодую один на один с самим собою, среди четырех стен, которые даже сфискалить на меня не могут! Ужели есть пытка более невыносимая и унижительная?» (VII, 499). Два противоположных чувства, испытываемых одновременно («сейчас — горжусь, и сейчас — презираю»), должны были бы вызвать внутреннюю борьбу. Этого не происходит. Психические движения непрерывно повторяются: «один и тот же мотив служит поводом для бесконечно блудной игры, в которой раздражение и успокоение сменяют друг друга без всякой надежды на просвет» (VII, 355).

Шедрин открыл *единство субъективной статики и объективной динамики* пассивного сознания. Он доказал, что даже при полном отсутствии внутренней борьбы потребность в синтезе лично-нравственного и социального берет свое, обуславливая неуклонное саморазвитие характера, но не к жизни, не к гармонии с миром, а к «выморочности». И чем упорнее жажда покоя, тем быстрее и глубже духовная деградация.

Писатель пристально исследует отдельный цикл (от благодушия к тревоге), характерный для психической жизни его героев: как в капле воды, в нем отражаются общие особенности их эволюций.

Субъективно-волевое усилие направлено к неподвижности: не думать, не доискиваться до корня, «окаменеть в ожидании чуда» (VII, 448), «застыть», «затаить дыхание», выждать — не представит ли исхода «какая-нибудь чисто внешняя случайность» (VII, 386). Это ведет к перевесу эмоционального над рациональным, поскольку полной остановки, перерыва в психическом процессе быть не может. Сильное эмоциональное напряжение при «смутности» мысли — таково обычное состояние щедринских героев в момент обострения тревоги. Арина Петровна не формулирует своей нравственной ответственности перед «постылым сыном», вернувшимся в Головлево. Это — «неясное представление, которое бессознательно тревожило ее, оно имеет характер сильного чувственного переживания, потрясающего все ее существо. «Арина Петровна... смутно понимала, что... как мать она не может отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он даже заточенный в контору будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение, — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала» (VII, 40).

С той же произвольностью, с какой эмоциональная сфера откликается на требование ответственности, угрожающее нарушить апатию отчуждения, — мгновенно возникают в воображении героев Щедрина «художественные картины», образы, детали; они рисуются зримо, живо, почти осязаемо. Эта «художественная воспроизводимость» ближе к чувственной сфере, нежели к динамической мысли, — показывает Щедрин. Это — «художественные инстинкты» (VII, 383). Рассказчик видит во всех подробностях, до иллюзии живой осязаемости, картину страданий славян. «Я закрыл глаза, как будто это ужасное зрелище произошло передо мной въяве, — сообщает он. — Я видел этого ребенка... *Мой* ребенок, в моих глазах...». Переживание, близкое к ощущению физической боли («все внутренности во мне жгло и рвало»), находится в прямой связи с тем, что Рассказчик совершенно не знает, «каким образом разрешился бы» для него этот «неслыханный кошмар» (VII, 383).

«Смутная» тревога, бессознательная тоска, работа «художественной воспроизводительности» не проходят даром. Накапливаются психологические изменения, которые подготавливают сдвиг в ходе внутренней жизни человека. Невыносима «пытка» противоречием, «ад» нерешенного внутреннего конфликта. «Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление», — таков закономерный результат пассивности Степана Головлева. Осужденный на медленное умирание, он не пытается осмыслить свое положение, найти практический исход из мучительного состояния тоски: «одна мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: гроб, гроб, гроб!» (VII, 45). Утомление кажется Степану беспричинным, — оно явилось произвольно, по объективной логике психического бытия, не выносящего нерешенных противоречий.

Эту закономерность можно назвать фактором «времени», ибо Щедрин постоянно подчеркивает, что каждый миг внутренней, субъективной неподвижности, — изнурая психику, приближает эмоциональный взрыв. Рассказчик, переживающий «кошмар» сострадания, говорит: «Еще момент — и я готов был метаться. Бессильно, безнадежно, как мечутся люди в предсмертной тоске» (VII, 383). Уезжая из Погорелки, Аннинька старается не слышать осуждающих слов крестьян, торопит

старосту, требует лошадей, несмотря на весеннюю распутицу и поздний час, старается сократить последние минуты пребывания в Погорелке, где ей пришлось впервые трезво взглянуть на свое положение провинциальной актрисы. Вопрос Федулыва о «билете» для «ахтерок» исчерпал последние возможности статистики. «Анниньку словно обожгло: целый день она все эти слова слышит.— Федулыв! — с криком вырвалось у нее.— Что я вам сделала?.. С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово,— и она не выдержит» (VII, 169).

Так же непроизвольно, незаметно для самого человека, происходит его нравственная эволюция, «смена души». Даже столь резкая трансформация, как превращение Арины Петровны из «бранчивой», властной и по-своему энергичной владелицы головлевских угодий в жалкую приживалку, способную думать лишь о «лакомом куске», совершилась с неумолимой закономерностью. После того, как Арина Петровна встала на «почву мечтания» — изнурительного томления, вызванного ожиданием реформы и боязнью «противодействий» со стороны крестьян, — «переход от брюзжаний самодурства к покорности и лывистости приживалки составлял только вопрос времени» (VII, 95).

«Готовности», заложенные в пассивной психике, будучи проявлены до конца, ведут к отказу от разумного сознания, к перевесу «нервной возбужденности» (VII, 507) над здоровой, активной мыслью. Герои Щедрина стремятся «забыть» или «затемнить» беспокоящие их вопросы с помощью «ухищренных комментариев». По утверждению Рассказчика, от «пытки» противоречием спасает «та общая смутность представлений, которая необыкновенно облегчает самые внезапные переходы от одного тезиса к другому, совершенно противоположному» (VII, 507). Так возникает бессознательное лицемерие, «искреннее лганье», «не ложь, а именно лганье» (VII, 507).

Лицемеры типа Тартюфа «и сами знают, что они лицемеры, да сверх того, знают, что это и другим безызвестно» (VII, 97). Иудушка, самоутверждаясь в благодушии и безответственности, тяготеет к потере контролирующих критериев. «В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил,— следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующей чертой его отношений к самому себе» (VII, 99).

Пустомыслие — конкретное выражение внутренней бесконтрольности. Крайней степенью деградации безответственного «пакостника, лгуна и пустослова» — Иудушки, становится запой праздномыслия, конструирование мнимого, иллюзорного мира. Иудушка запирается в кабинете, занавешивает окна и наедине с самим собой создает воображаемую действительность, разговаривает с воображаемыми собеседниками. Здесь — он полный хозяин, здесь уже «не имелось места ни для отпора, ни для оправданий», и, «следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид» (VII, 209). Иудушка счастлив! Он упивается небывалой ранее, даже для него, свободой от нравственных ограничений, но это упоение, это кажущееся полным и безраздельным самоутверждение в отчужденности от жизни достигнуто ценой крайнего внутреннего мошенничества, самораствления, ценой потери контроля разума над собой. Если бы Иудушка верил в реальность своих кровопийственных «сюжетов», — это относилось бы к области патологии. Но эта была «не вера, не убеждение, а именно умышленное распуствство» (VII, 210).

Новаторство Щедрина ярче всего сказалось в изображении конца Головлевых и Разумова: их «просияния» и гибели. Характерно, что даже такой знаток психологии благодушных, как И. А. Гончаров, отвергал возможность духовной катастрофы в применении к щедринскому герою. Рассматривая предполагавшееся самоубийство Иудушки как возврат к «деятельной», «чуткой» совести, он отдавал предпочтение другому варианту: безостановочному движению вниз. В 1876 году Гончаров писал Щедрина по поводу конца Иудушки: «...он и не удивится никогда... он может видоизмениться во что хотите, т. е. делаться все хуже и хуже: потерять все нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренне восстать — нет, нет и нет!»¹³ Скептическое отношение Гончарова к перспективам катастрофизма пассивной психики сказалось и в его творчестве: Обломову удается миновать духовный кризис, «идиллия» его отчуждения подтачивается физическим недугом, — следствием обломовского «неумения жить».

Салтыков-Щедрин разработал третий, неожиданный для своего корреспондента, вариант развязки. Он доказал неизбежность краха благодушных: расчета с совестью. Но расчета — бесплодного, сопряженного с инерцией пассивности. Тяжелого *нравственного потрясения, но не переворота*.

«Просияние» наступает с той же закономерностью, с какой происходит эмоциональный взрыв после длительного томления. Искрываются все средства оглушения самих себя, психика предельно изнуряется, а жизненные конфликты, обостряясь, требуют все более и более «нечеловеческих» усилий для создания «волшебного мира» (VII, 127, 242).

Отчаяние Петеньки, бесплодно пытавшегося пронять нравственно окостеневшего отца, поставило Арину Петровну перед фактом неверно прожитой жизни, — фактом настолько явным, что его нельзя было ни забыть, ни затемнить ухищренными комментариями. «...Настала минута, когда перед ее умственным оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово и не могли. И вдруг в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку и из груди ее вырвался вопль: Прро-кли-ннаааю!» (VII, 29). Весьма характерно, что расчет с прошлым, то есть признание иллюзорности «семьи» — главного оправдания всей жизни Арины Петровны, отданной скопидомству, — наступает *как раз в тот момент*, когда общее эмоциональное напряжение присутствующих — и особенно Петеньки, — достигает предела, когда все способы затушевать конфликт оказываются уже явно невозможными.

Бремя нерешенных, «как бы позабытых», а на деле копившихся тревог делается совершенно непосильным: ведь за ними вся жизнь. «Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно — в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемой завесой, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить» (VII, 252) — замечательный образ ответственности, наступающей Иудушку по логике объективного психологического саморазвития.

Личностные усилия по-прежнему направлены к неподвижности, к «забвению», но сами собой «выделяются из тьмы очертания»,

¹³ И. А. Гончаров, Собрание сочинений в 8 томах, Гослитиздат, М., 1955, т. VIII, стр. 490—491.

«случайные» проблески «освещают тот или иной угол картины» (VIII, 487), «художественные инстинкты» возвращают к прошлому. Аннинька, пройдя все градации оподления и вернувшись в Головлево после смерти сестры, старается утихомирить воспоминания, приглушить боль за постыдно прожитую жизнь, «ни о чем не думать» (VII, 240), но навстречу ей так и плывут то «герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарским ментиком», то «Клеретта Анго, в подвенечном платье, с разрезом впереди до самого пояса» (VII, 242).

Салтыков-Щедрин находит ситуацию, в которой полнее всего могло быть раскрыто прозрение «человека толпы»: конфликт с детьми. «Что бы ни произошло: отвернется ли Молчалин-сын от Молчалина-отца, или же он попросту... «не доглядит за собою», — результат для Молчалина-отца, во всяком случае будет один»: необходимо понять, осмыслить эту «казнь» (VII, 381). А это значит: «наново перечувствовать все казни прошлого», «шаг за шагом перебрать всю прежнюю жизнь» (VII, 381).

Требование ответственности обостряется не в порядке активных лично-нравственных усилий, а как следствие объективной динамики жизни, поэтому оно и носит характер самопроизвольно явившегося эмоционального переживания, доходящего до психологического гротеска и сопровождающегося полным выключением сознания: в сцене «проклятия» Арина Петровна «под влиянием только что испытанного потрясения... как-то разом потеряла всю жизненную энергию и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед» (VII, 129); Иудушка «нутром», физической болью чувствовал «ужасную правду», к прошлому больно прикоснуться, он уже не пытался опровергать обвинений и упреков со стороны Анниньки, а только «кричал криком и проклинал» (VII, 247); Молчалин после ареста сына «находился в состоянии полусна и сознавал только одно: что его постигла внезапная и совсем нестерпимая боль» (VII, 524).

Уйти от контроля разума становится невозможно («позабыть нельзя»), но и жить, когда «больно везде» (VII, 382), — невозможно. Остается или погибнуть, или искать «коренное решение», т. е. «думать за свой счет».

Большая или меньшая степень участия рационального начала в расчете щедринских героев зависит от конкретных социальных и индивидуальных особенностей их психологии. Арина Петровна благодаря своей личной энергии «случайным метеором» блеснула посреди головлевской неурядицы. Последние дни ее жизни отмечены не только «старческим бессилием», но и «пониманием чего-то лучшего, более справедливого» (VII, 90). Перед смертью она повторяет с тоской: «Сирот бы...» — словно чувствуя свою ответственность перед племянницами и стремясь защитить их от Иудушки. Тенденция к анализу и обобщению головлевских «умертвий» намечается в раздумьях Анниньки, в ее обвинениях и проклятиях, обращенных к Иудушке. Ближе всех других Головлевых стоящая к «среднему слою», мечтавшая в юности о «серьезном труде», о «своем» куске хлеба, Аннинька сознает, что «Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная» (VII, 241).

Наиболее значительно по степени активности рационального начала — «просияние» Разумова, «через сына» приблизившегося к осознанию масштабов своего отчуждения от жизни («всю атмосферу надо изменить...»), — прозрение Молчалина, «ясно» увидевшего, что «не сын должен был подняться до него, а он до сына» (VII, 525).

Проблески активной мысли не переходят в развернутую нравственную борьбу. Лишние последние ресурсы внутренней статики и не

способные возродиться к динамической, ответственной мысли, герои Щедрина погибают.

Иудушка Головлев, концентрирующий в себе крайние классовые качества эксплуататора, проявляет самое последовательное упорство в попытках сохранить состояние отчужденности неизменным, обойтись без осмысления терзающих его воспоминаний, найти лазейку, через которую можно было бы ускользнуть от пристигнувшей его «ужасной правды». Щедрин прослеживает, как Иудушка пытается использовать для облегчения своей ноши нравственные мотивы всеобщей. Рассказ о страданиях Христа и предательстве Иуды впервые в жизни потряс Порфирия Головлева, он открыл в нем то, чего никогда не замечал прежде. Но религия, всегда служившая ему опорой, и на этот раз не пробудила в нем активной мысли: «было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления» (VII, 252). Знаменитый эпизод после всеобщей открывается робкой, жаждущей исчезнуть, мгновенно гаснущей попыткой Иудушки признать свою вину по одному частному поводу. «— А ведь я перед покойницей-маменькой... ведь это я ее замутил... я!» — бродило... в его мыслях» (VII, 252). Слово «виноват» — опущено даже во внутренней реплике. Безмерность страданий Христа опущено даже Иудушку потому, что ею подчеркивается и безмерность его прощения. «Ах, какие это были страдания! и простил! Всех навсегда простил!» — восклицает он. Затем обращается к Анниньке: «— А ты простила?» — и уже утвердительно продолжает: «— Надо меня простить!... за всех... и за себя... И за тех, которых уже нет...» (VII, 253). Так, минуя формулу вины, опуская ее, Иудушка прямо переходит к четкой формуле «прощения». Поистине нет границ духовному мошенничеству «пакостника» и «кровопийца», тяготеющего к благодушию! Где-то, под спудом бессознательной «смуты, граничившей почти с отчаянием», прошло признание вины перед «всеми», но высказано ни себе, ни другим так и не было.

Возмездие Иудушке, его казнь — в том, что эти последние, судорожные попытки облегчить бремя ответственности не удаются. Перед тем, как выйти в мартовскую метель на дорогу и замерзнуть, не дойдя до «маменькиной могилки», Иудушка еще раз попробовал вернуть себе благодушие: «...некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом испупителя в терновом венце и вглядывался в него», — как бы еще продолжая надеяться, что «все-прощение» Христа, искупившего своими страданиями грехи людей, может стать для него лазейкой. «Наконец, он решился». «Трудно сказать, — подчеркивает автор, — насколько он сам сознвал свое решение». «Идея о саморазрушении» созревала в нем, как бессознательное чувство отвращения к жизни, не оставившей ни малейшего повода для пустомыслия, ограничившей со всех сторон его тяготение к покою. Коренного нравственного решения не произошло. Это обстоятельство, возможно, явилось причиной, побудившей Щедрина изменить первоначальное название последней главы романа (в журнальном тексте — «Решение», в окончательном — «Расчет»).

Иудушка, в высшей степени склонный к субъективной статике, к самоутверждению в безответственности, оказывается в то же время и единственным среди щедринских персонажей этого душевного склада, кто кончает «сам» (остальных настиг удар или доканала горячка, следствие предельного изнурения всех физических и духовных сил). В «расчете» и гибели Иудушки наиболее последовательно проявлен закон, определяющий эволюцию безответственных: единство

субъективной статики и объективной динамики внутреннего мира. Создавая этот образ, Щедрин освободил тенденцию к безответственности от осложняющих подробностей и показал, до каких последствий она может развиваться, если ничто не воспрепятствует ей. Иудушка с наибольшей художественной завершенностью воплощает потребность в синтезе личностных усилий и объективного процесса обобществления человека.

Фактор «времени», доведенный до предельного психологического катастрофизма, означает, что в каждом душевном движении щедринских героев, в каждом, казалось бы, ничем не примечательном мгновении их частной жизни просвечивает широкий общественный кризис. Это сближает Щедрина с Чеховым-психологом, хотя тот и не рассматривал крайних по социальному консерватизму форм отчуждения, подобных головлевщине. «Кисляйство» чеховских героев, особенно — интеллигентов, лишенных «общей идеи», их порывания к другой, настоящей жизни и возвращения на «круги своя», выбор, перед которым они стоят: «или знать, для чего живешь, или все... трын-трава»¹⁴, катастрофа «расчета» («Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня») — это та же диалектика души, которую по преимуществу исследовал и Щедрин.

4.

Для того, чтобы передать комизм отчуждения, взятого в статическом виде, в отвлечении от синтеза лично-нравственной и социальной сфер, Салтыкову-Щедрину был необходим гротеск. В мире «Органчиков и Угрюм-Бурчеевых нечего делать аналитику «души» — вот источник сарказма! «Кукольные создания», градоначальники, смешны тем, что подлинной психической жизни у них нет, их действия лишь имитируют результаты внутренних реакций.

В «Господах Головлевых» и в очерках о «среднем человеке» преобладает иное: *комизм точки зрения*, соответствующей старому, отжившему порядку вещей. Этот вид комизма обусловлен динамикой жизни. Ему в наибольшей степени соответствует психологический анализ как способ раскрытия характера. Чем детальнее прослеживаются нюансы психики, склонной к духовному мошенничеству, чем тщательнее выявляется соотношение рационального и эмоционального, субъективного и объективного в ходе внутренней жизни, — тем вернее достигается цель: глубже раскрывается несостоятельность «частной формулы жизни».

Герои «современных идиллий» ищут решения эпохального социально-нравственного конфликта в направлении, противоположном тому, которое уже определено историей, то есть, они стремятся к недостижимой цели. В этом их объективная «глупость» (источник комического, по Чернышевскому). Салтыков-Щедрин достигает яркого сатирического эффекта, подчеркивая *противоречие между мерой субъективных усилий и иллюзорностью цели*, характерное для внутренней жизни его персонажей.

Головлевская «уклончивость» изображается как побуждение, способное принимать всепоглощающий характер, — тем она и смешна. Писатель обращает особое внимание на ту «безусловность», с какой «выморочный» барин, запершись в кабинете, упивается мнимым, иллюзорным «счастьем». Иудушка смешон, когда старается утром встать пораньше, чтобы скорее приняться за «работу», дающую ему столь упоительную полноту безответственности, когда торопливо выбегает в столовую, наскоро, стоя, съедает свои две перемены кушанья и спешит

¹⁴ А. П. Чехов, Собрание сочинений в 12 томах, Гослитиздат, М., 1955, т. IX, стр. 361.

скрыться в кабинет; смешон, когда весь в поту встает из-за стола и ложится на диван отдохнуть,— физическое изнурение указывает на крайнюю степень «беззаветности» его «самонадувательства».

Салтыков-Шедрин до предела доводит сарказм, прослеживая нагнетание экстаза в характерных для Рассказчика и Глумова ситуациях «самооправдания». Интеллигенты стараются убедить себя в том, что их гуманизм и сочувствие народу («экскурсии в область униженных и оскорбленных») «зачтутся» им. «— А ты думал — нет? — уже не говорил, а гремел Глумов. — Ты думал, что экскурсии-то наши — пусто-порожнее место? Нет, мой друг... от них свет пролился». «В этих словах звучал такой несомненный порыв, что он сразу охватил и меня,— сообщает Рассказчик.— Мы оба инстинктивно встали с мест и, крепко сжимая друг другу руки и смотря другу в глаза воскликнули: Свет! свет! свет! — Ежели читатель заподозрит, что отдаваясь нашему порыву, мы били на театральный эффект, то он будет положительно неправ. Клянусь, ничего подобного не было! Мы не рисовались ни перед людьми, ни перед самими собой, а отдались порыву безусловно, беззаветно, не имея в виду ни самоуслаждений, ни самообольщений — ничего!» (VII, 512).

Салтыков-Шедрин всячески подчеркивает силу, искренность, упорство субъективного влечения к «утехе», свойственного его персонажам,— именно таким путем вскрывается их нерасчетливость, «умопомрачение». И чем «беззаветнее» упоение благодушием, переживаемое ими, чем полнее их стремление утвердиться в безответственности,— тем рельефнее выступает комизм характеров, тем больше оснований для негодующего, отрицающего смеха.

Психологический анализ, разработанный великим русским сатириком, открывал простор не только для его комедийного таланта, он позволял детально рассмотреть и трагическую сторону отчужденности как личностной позиции: драму позднего прозрения.

Рассчитываясь с совестью, герои Щедрина обнаруживают, что у них не было «собственной», «органической» жизни (VIII, 486). Арина Петровна после того, как прокляла Иудушку, молчала целыми днями. «Казалось, она хотела что-то вспомнить, хоть, например, то, каким образом она очутилась в этих стенах, и не могла» (VII, 131). Аннинька, перебирая прошлое, постоянно задавала себе вопрос: «Неужели это все было?» (VII, 242). Даже Иудушка растерянно озирается вокруг: «Где... все?» (VII, 253). Но «ужасная правда» — не только снимает предшествующие усилия человека, направленные к «забвению», — она отрицает и его будущее. Жизнь, прошедшая зря, имеет вполне реальный результат: почти автоматическую инерцию отчуждения. Будущего нет именно потому, что прошлое прожилося «само собой». «И как все это странно и жестоко сложилось! — думает Аннинька. — Нельзя даже вообразить себе, что... существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может» (VII, 242). Субъективная статика, томление, надрыв без всякого просвета в деятельный исход конфликта — это единственное, что остается предельно деградировавшим, развращенным внутренней бесконтрольностью Головлевым, жаждущему покоя Разумову. Предопределена всей их прошлой жизнью позиция, которую они занимают в ситуации «расчета»: погибнуть, но не доискиваться до корня, не предпринимать действенных мер. «Человек видит себя... отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной только агонии...» (VII, 249). Трагическое оттеняет динамику жизни: объективную *невозможность откладывать «коренные решения»*.

Таким образом, своеобразие психологизма в «Господах Головле-вых» и молчалинском цикле определяется единством социально-политического и моралистического критериев. Салтыков-Щедрин последовательнее, чем кто бы то ни было из его современников, оценил эпохальный кризис в отношениях между индивидом и обществом. Он показал, что эксплуататоры не могут более чувствовать себя удовлетворенными в отчуждении: они обречены на гибель; «массовый» человек стоит перед выходом к новой, целостной системе идей о мире и его преобразовании, перед необходимостью широкого социального действия. Революционный пафос Щедрина-моралиста неотделим от той особой *эстетической завершенности*, с какой проявились у него общие для передовой литературы тенденции: писатель распространяет сложный психологический анализ на пассивное сознание, доводит до всех возможных последствий катастрофизм этого сознания, тем самым получая возможность включить диалектику души в сферу сатиры и одновременно придать ей трагедийное звучание.

Кафедра русской литературы
Вильнюсского государственного университета
им. В. Капсукаса

Представлено
в июне 1965 года

PSICHOLOGINĖ ANALIZĖ SALTYKOVŲ-ŠČEDRINO SATYROJE

S. DLUGOVSKAJA

Re z i u m ė

Paprastai, nagrinėjant psichologinę analizę satyroje, akcentuojami tie bruožai, kurie jungia ją su grotesku. Šiame straipsnyje mėginama apibrėžti, kokias naujas, specifines gyvenimo puses, nepavaldžias groteskui, atskleidžia psichologinė analizė įžymaus rusų satyriko — Ščedrino kūryboje (8-tas XIX a. dešimtmetis).

„Vieno miesto istorijos“ sąlyginėse figūrose rašytojas statiškai įkūnijo „automatinę“ asmenybės atžvilgiu socialinę jėgą. Tuo tarpu sielos dialektika jo satyroje („Ponai Golovliovai“, „Skaudi vieta“, „Saikingumo ir akuratumo aplinkoje“) atskleidžia gyvenimo dinamiką — asmeninio ir socialinio pradų sintezę.

Visapusiškai tyrinėdamas buržuazinę tikrovę, Ščedrinas nukreipė dėmesį į visuomenės ir individo santykių krizę: objektyviai žmogus kapitalistinėje visuomenėje, kaip niekada anksčiau, tapo socialine būtybe, bet tuo pačiu laiku jis pavirto ir atskiru individui. Ši asmenybės susvetimėjimo problema — viena iš pagrindinių 8-to dešimtmečio satyriko apybraižose („Saikingumo ir akuratumo aplinkoje“).

Ščedrinas savotiškai išaiškina sąmonės vystymosi dėsnius. Skirtingai nuo Dostojevskio ir Tolstojaus, kurie domėjosi pirmaisiai aktyvia, nukreipta į radikalius moralinius sprendimus, psichika, Ščedrinas tyrinėja susvetimėjimo „idiliją“, — nuotaiką, būdingą socialiniams sluoksniams, suinteresuotiems atgyvenusiųjų santykių išlikimu. Jis parodo, kad „savo sąskaita“ nespėsdamas konfliktų, mėgindamas įsitvirtinti neatsakingumo pozicijoje, žmogus neišvengiamai artėja prie moralinės degradacijos, prie savikontrolės netekimo, prie nesąmoningo veidmainiavimo, ir — pagaliau, prie sunkaus atsiskaitymo su sąžine. Pabrėždamas savo herojų juokingumą, „kvailystę“, — jų atkaklų siekimą iliuzorinio tikslo, Ščedrinas suteikia psichologinei analizei satyrinę kryptį.